

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ . . .	7
ПРЕДИСЛОВИЕ	11
I. ПОЧЕМУ ПОСТДЕМОКРАТИЯ?	16
II. ГЛОБАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ: КЛЮЧЕВОЙ ИНСТИТУТ ПОСТДЕМОКРАТИЧЕСКОГО МИРА	49
III. СОЦИАЛЬНЫЕ КЛАССЫ В ПОСТДЕМОКРАТИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ	74
IV. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ В УСЛОВИЯХ ПОСТДЕМОКРАТИИ	93
V. ПОСТДЕМОКРАТИЯ И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ ГРАЖДАНСТВА	102
VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: КУДА МЫ ДВИЖЕМСЯ?	131
ЛИТЕРАТУРА	155
ПРИЛОЖЕНИЯ	
Колин Крауч. Что последует за упадком приватизированного кейнсианства?	161
Приватизированное кейнсианство, корпорации и демократия. Беседа Артема Смирнова с Колином Краучем	186

ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ

Первое издание «Постдемократии» увидело свет в Английской и итальянской версиях в 2004 году. С тех пор книга была переведена на испанский, хорватский, греческий, немецкий, японский и корейский языки. И я рад, что теперь она переведена еще и на русский язык, который полвека тому назад я учил в школе и который я всегда любил.

Не могу сказать, что моя книга где-то стала «бестселлером», но для того, кто обычно пишет академические книги, которые не привлекают внимания нигде, кроме академических журналов, непривычно, когда его книга удостоивается внимания средств массовой информации и политических комментаторов. Это касалось преимущественно немецкого, итальянского, английского и японского изданий. Это не стало для меня неожиданностью и казалось вполне объяснимым: идея постдемократии ориентирована на страны, где демократические институты глубоко укоренены, население, возможно, пресытилось ими, а элиты ловко научились ими манипулировать.

Под постдемократией понималась система, в которой политики все сильнее замыкались в своем собственном мире, поддерживая связь с обществом при помощи манипулятивных техник, основанных на рекламе и маркетинговых исследованиях, в то время как все формы, характерные для здоровых демократий, казалось, оставались на своем месте. Это было обусловлено несколькими причинами:

- Изменениями в классовой структуре постиндустриального общества, которые порождают множество профессиональных групп, которые, в отличие от промышленных рабочих, крестьян,

государственных служащих и мелких предпринимателей, так и не создали собственных автономных организаций для выражения своих политических интересов.

- Огромной концентрацией власти и богатства в многонациональных корпорациях, которые способны оказывать политическое влияние, не прибегая к участию в демократических процессах, хотя они и имеют огромные ресурсы для того, чтобы в случае необходимости попытаться манипулировать общественным мнением.
- И — под действием обеих этих сил — сближением политического класса с представителями корпораций и возникновением единой элиты, необычайно далекой от нужд простых людей, особенно принимая во внимание возрастающее в XXI веке неравенство.

Я не утверждал, что мы, жители сложившихся демократий и богатых постиндустриальных экономик Западной Европы и США, уже вступили в состояние постдемократии. Наши политические системы все еще способны порождать массовые движения, которые, опровергая красивые планы партийных стратегов и медиаконсультантов, тормозят политический класс и привлекают его внимание к своим проблемам. Феминистское и экологическое движение служат главными свидетельствами наличия такой способности. Я пытался предупредить, что, если не появится других групп, способных вдохнуть в систему новую жизнь и породить автономную массовую политику, мы придем к постдемократии.

Даже когда я говорил о грядущем постдемократическом обществе, я не имел в виду, что общества перестанут быть демократическими, иначе я бы говорил о недемократических, а не о постдемократических обществах. Я использовал приставку «пост-» точно так же, как она используется в словах «постиндустри-

альный» или «постсовременный». Постиндустриальные общества продолжают пользоваться всеми плодами индустриального производства; просто их экономическая энергия и инновации направлены теперь не на промышленные продукты, а на другие виды деятельности. Точно так же постдемократические общества и дальше будут сохранять все черты демократии: свободные выборы, конкурентные партии, свободные публичные дебаты, права человека, определенную прозрачность в деятельности государства. Но энергия и жизненная сила политики вернется туда, где она находилась в эпоху, предшествующую демократии, — к немногочисленной элите и состоятельным группам, концентрирующимся вокруг властных центров и стремящимся получить от них привилегии.

Поэтому я был несколько удивлен, когда моя книга была переведена на испанский, хорватский, греческий и корейский. Демократии в Испании всего четверть века от роду, и кажется, что она там вполне процветает и имеет страстных сторонников как из числа левых, так и из числа правых. То же, казалось, можно было сказать и о Греции с Кореей, хотя обе эти страны имели непростой опыт политической коррупции. Надо ли считать постдемократию реальным явлением в этих странах? С другой стороны, испаноязычные страны Южной Америки и Хорватия, казалось, имели не слишком большой опыт демократии. Если люди ощущали, что с их политическими системами что-то было не так, то были ли это проблемы постдемократии или же это были проблемы самой демократии?

Схожие вопросы возникают и в связи с русским изданием. Разворачиваются ли в этих новых демократиях острые политические конфликты с широким участием масс, которые ограничиваются необходимостью не выходить за пределы демократии? Или они уже перешли к состоянию, когда единая политико-экономическая элита устранилась от активного взаи-

модействия с народом? Русским демократам всегда было сложно бороться с теми, кто обладал огромным богатством и властью, — царской аристократией, аппаратчиками советской эпохи или современными олигархами. Значит ли это, что страна скатится к постдемократии, так и не узнав, что такое настоящая демократия? Или демократия все еще переживает становление, а борьба между ней и старым режимом далека от завершения? Сочтут ли российские читатели мою небольшую книгу чем-то, что имеет отношение к их собственному обществу, или они увидят в ней повествование о проблемах политических систем Запада?

Колин Крауч

ПРЕДИСЛОВИЕ

Эта книга постепенно выросла из различных тревожных размышлений. К концу 1990-х в большинстве промышленно развитых стран стало ясно, что, какая бы партия ни находилась у власти, на нее постоянно будет оказываться давление со вполне определенной целью: проведения государственной политики в интересах богатых, то есть тех, кто выигрывает от ничем не ограниченной капиталистической экономики, а не тех, кто нуждается в некоторой защите от нее. Приход к власти левоцентристских партий почти во всех странах — членах Европейского Союза, который, как тогда казалось, открывал беспрецедентные возможности, не привел к сколько-нибудь значительным переменам к лучшему. Меня, как социолога, не устраивали объяснения этого со ссылками на измельчание политиков. Дело было в структурных силах: в политике не появилось ничего, что могло бы заменить собой тот вызов, который на протяжении XX века бросал интересам богатых и привилегированных организованный рабочий класс. Численное сокращение этого класса означало возвращение политики к некоему подобию того, чем она всегда была: чему-то, что служило интересам различных привилегированных слоев.

Примерно в это время Эндрю Гэмбл и Тони Райт попросили меня написать главу для книги о «новой социал-демократии», которую они готовили для журнала *The Political Quarterly* и Фабианского общества. Так что я развил эти мрачные мысли в статье «Парабола политики рабочего класса» (*Crouch C. The Parabola of Working Class Politics // Gamble A., Wright T. (eds.). The New Social Democracy. Oxford: Blackwell, 1999. P. 69–83*). Третья глава настоящей книги представляет собой расширенную версию этой статьи.

Как и многих других, в конце 1990-х меня также не устраивал характер нового политического класса, который сложился вокруг правительства новых лейбористов в Великобритании. На смену старым руководящим кругам в партии стали приходиться пересекающиеся сети всевозможных советников, консультантов и лоббистов, представлявшие интересы корпораций, которые искали расположения со стороны правительства. Этот феномен ни в коей мере не ограничивался новыми лейбористами или Великобританией, но проявился в них наиболее ярко, потому что старое руководство Лейбористской партии в начале 1980-х было дискредитировано настолько, что на него уже можно было не обращать внимания.

Многое из того, что известно мне об устройстве политической жизни и ее связях с остальным обществом, я узнал от Алессандро Пиццорно, и когда Донателла Делла Порта, Маргарет Греко и Арпад Саколцай попросили меня написать для юбилейного сборника, который они готовили для Сандро, я воспользовался этой возможностью, чтобы развить эти мысли более строго. Получившаяся в результате статья (*Crouch C. Inrorno ai partiti e ai movimenti, militanti, iscritti, professionisti e il mercato // Porta D. D., Greco M., Szakolczai A. (eds.). Identita, riconoscimento e scambio: Saggi in onore di Alessandro Pizzorno. Rome: Laterza, 2000. P.135–150*) с некоторыми изменениями включена в виде главы IV в настоящую книгу.

Эти две различные темы — вакуум слева в массовом политическом участии из-за упадка рабочего класса и рост политического класса, связанного с остальным обществом по большей части только через деловые лобби, — явно были взаимосвязаны. Они также помогли объяснить то, что все большее число наблюдателей стало считать тревожными признаками слабости западных демократий. Возможно, мы вступали в эпоху постдемократии. Тогда я поинтересовался у Фабианского общества, не было бы им любопытно

обсудить этот феномен. Я разработал понятие постдемократии, прибавил обсуждение того, что казалось мне ключевым институтом, стоящим за этими переменами (глобальная компания), и некоторые идеи относительно того, как обеспокоенным гражданам следует ответить на эти трудности (краткие версии глав I, II и VI). Все это вылилось в брошюру «Как совладать с постдемократией» (*Crouch C. Coping with Post-Democracy. Fabian Ideas 598. London: The Fabian Society, 2000*).

Эта небольшая работа привлекла определенное внимание и попала на глаза Джузеппе Латерца и его одноименного издательства. Ему захотелось опубликовать итальянскую версию этой работы в серии небольших книг по ключевым социальным и политическим вопросам, но он заметил, что готовая брошюра была адресована преимущественно британской читательской аудитории. Поэтому при написании своей новой книги (*Crouch C. Postdemocrazia. Rome: Laterza, 2003*) я решил обратиться к более широкому европейскому контексту, дополнив ее конкретными примерами.

И пока я занимался этим, меня заинтересовала новая тема: коммерциализация образования и других общественных услуг, которая происходила в Великобритании и многих других странах. Моя жена была тогда высокопоставленным чиновником в сфере образования в одном из британских графств. Я видел, как центральное правительство оказывало все более сильное давление на нее и на ее коллег по всей стране, требуя передачи части полномочий и школ частным компаниям и изменения самого понимания и устройства общеобразовательной системы, чтобы ее легко можно было передать таким компаниям и чтобы ею заведовали частные компании, а не государственные ведомства. По схожему сценарию развивались события и в системе здравоохранения и других сферах государства всеобщего благосостояния. Это вызывало

серьезные вопросы относительно идеи гражданства в государстве всеобщего благосостояния. Общие вопросы и конкретные факты, связанные с системой образования, были рассмотрены мной в еще одной брошюре Фабианского общества (*Crouch C. Commercialization or Citizenship: Education Policy and the Future of Public Services. Fabian Ideas 606. London: The Fabian Society, 2003*).

И хотя речь здесь шла о будущем государства всеобщего благосостояния, эти вопросы также были важны для обсуждения проблем демократии. Рост политического влияния глобальных компаний, вакуум слева вследствие упадка рабочего класса и то, как новый политический класс политических консультантов и лоббистов от бизнеса заполнял этот вакуум, помогли объяснить, почему социальная политика государства становилась все более одержимой идеей передачи работы частным подрядчикам. Эти споры также были частью споров о постдемократии и даже служили важным примером практических следствий постдемократии. Поэтому я включил основные общие рассуждения из своей брошюры «Коммерциализация или гражданство» в текст итальянского издания «Постдемократии».

Затем появилась возможность снова опубликовать этот расширенный текст брошюры о постдемократии по-английски в издательстве *Polity*, включив в него еще несколько дополнений, которые учитывали рекомендации рецензентов из издательства и результаты обсуждения итальянского издания. По утверждению некоторых комментаторов, в том числе Джулиано Амато и Микеле Сальвати, в своей книге я говорил не о столько о проблемах демократии как таковой, сколько о проблемах социал-демократии. Ральф Дарендорф сделал схожее замечание, сказав, что я выступал с позиций эгалитарной, а не либеральной демократии. Я бы с этим поспорил. Когда в государствах со всеобщим гражданством избиратели оказывают-

ся оторванными от участия в общественной жизни и пассивно позволяют немногочисленным элитам ограничивать свое политическое участие, это представляет проблему для всех форм серьезной и принципиальной политики. В частности, то, что в экономическую политику правительства вмешиваются различные лобби, обладающие привилегированным политическим доступом к нему, заполняя тот вакуум, который возникает вследствие этой пассивности, и разлагая рынки, в которые так верят неолибералы, должно волновать последних не меньше, чем социал-демократов.

I. Почему постдемократия?

В начале XXI века демократия оказалась в парадоксальном положении. С одной стороны, можно сказать, что она переживает свой всемирно-исторический расцвет. В последнюю четверть века сначала Иберийский полуостров, а затем — и это особенно впечатляет — значительные части советской империи, Южная Африка, Южная Корея и некоторые страны Юго-Восточной Азии и, наконец, Латинской Америки по крайней мере формально перешли к более или менее свободным и честным выборам. И государства, которые в настоящее время имеют подобные демократические механизмы, больше, чем когда-либо прежде. По данным исследовательского проекта под руководством Филиппа Шмиттера, посвященного изучению демократии в мире, количество стран, в которых проводятся сравнительно свободные выборы, выросло со 147 в 1988 году (накануне краха советской системы) до 164 в 1995 году и 191 в 1999 году (Шмиттер, личная беседа, октябрь 2002 года; см. также: Schmitter and Vroouwer, 1999). Если использовать более строгое определение полноценных и свободных выборов, результаты оказываются более двусмысленными: беспорядочный спад с 65 до 43 в период с 1988 по 1995 год, а затем рост до 88 случаев.

Между тем в сложившихся демократиях Западной Европы, Японии, Соединенных Штатов и других стран промышленно-развитого мира, где для оценки его здоровья должны использоваться более тонкие индикаторы, положение выглядит не столь оптимистично.

Достаточно вспомнить президентские выборы 2000 года в Соединенных Штатах, где имелись почти неопровержимые свидетельства серьезных подтасо-

вок результатов голосования во Флориде, приведшие к победе Джорджа Буша-младшего, брата губернатора штата. Помимо немногочисленных демонстраций чернокожих американцев, мало кто выразил недовольство фальсификацией демократического процесса. Многие, по-видимому, считали, что достижение результата — не важно, какого — было необходимо для восстановления уверенности на фондовой бирже и что это было важнее установления того, каким было действительное решение большинства.

Или возьмем, например, недавний доклад, представленный Трехсторонней комиссии — элитарному органу, который сводит вместе ученых из Западной Европы, Японии и США: в нем был сделан вывод, что с демократией в этих странах не все так гладко, как может показаться на первый взгляд (Pharr and Putnam, 2000). Авторы рассматривали проблему преимущественно с точки зрения снижения способности политиков совершать решительные действия вследствие того, что их легитимность оказывалась все более сомнительной из-за снижения явки избирателей. Эта довольно элитистская позиция не позволила им прийти к выводу, что наличие политиков, не пользующихся большим доверием у общества, также может свидетельствовать о проблемах самого общества. Наоборот, по замечанию Патнэма, Фарра и Далтона (Putnam, Pharr and Dalton, 2000), растущая неудовлетворенность общества политикой и политиками может считаться свидетельством здоровья демократии: политически зрелое, требовательное общество ждет от своих нынешних лидеров большего, чем от их почтенных предшественников. Мы еще не раз вернемся в этом важном замечании.

Демократия процветает тогда, когда простые люди имеют возможности для активного участия — посредством обсуждения и автономных организаций — в формировании повестки дня общественной жизни и когда они активно используют такие возможности. Конечно,

нельзя ожидать, что большинство будет самым живым образом участвовать в серьезном политическом обсуждении и формировании повестки дня, а не просто выступать в качестве пассивных респондентов при проведении опросов общественного мнения и осознанно действовать в последующих политических событиях и действиях. Это идеальная модель, которой почти никогда невозможно достичь в полной мере, но, как и все недостижимые идеалы, она задает ориентир. Всегда ценно и полезно рассмотреть, насколько наше поведение соотносится с идеалом, поскольку так мы можем попытаться его улучшить. Нам важно принять именно этот подход к демократии, а не более общий, который обтесывает идеал таким образом, чтобы он соответствовал тому, чего мы легко можем достичь. Последний подход ограничивается удовлетворенностью, самовосхвалением и нежеланием рассматривать то, как происходит ослабление демократии.

Вспомним работы американских политических ученых 1950-х — начала 1960-х годов, которые строили свое определение демократии так, чтобы оно соответствовало действительной практике в США и Британии, не учитывая изъяны в политическом устройстве этих двух стран (см., например: Almond and Verba, 1963). Это была идеология времен холодной войны, а не научный анализ. Схожий подход доминирует и в современной мысли. Под влиянием Соединенных Штатов демократия вновь все чаще определяется как либеральная демократия — исторически обусловленная форма, а не нормативный идеал (критику такого подхода см.: Даль, 2003; Schmitter, 2002). Здесь главной формой массового участия оказывается участие в выборах, широкая свобода для лоббистской деятельности, которой занимаются в основном бизнес-лобби, а политическая власть избегает вмешательства в капиталистическую экономику. Эту модель не слишком интересует широкое участие граждан или роль организаций, не связанных с бизнесом.

I. Почему постдемократия?

Согласие со скромными ожиданиями от либеральной демократии приводит к удовлетворенности тем, что я называю постдемократией. При этой модели, несмотря на проведение выборов и возможность смены правительств, публичные предвыборные дебаты представляют собой тщательно срежиссированный спектакль, управляемый соперничающими командами профессионалов, которые владеют техниками убеждения, и ограниченный небольшим кругом проблем, отобранных этими командами. Масса граждан играет пассивную, молчаливую, даже апатичную роль, откликаясь лишь на посылаемые им сигналы. За этим спектаклем электоральной игры разворачивается непубличная реальная политика, которая опирается на взаимодействие между избранными правительствами и элитами, представленными преимущественно деловыми кругами. Эта модель, как и максимальный идеал, также является преувеличением, но в современной политике достаточно элементов, которые позволяют поднять вопрос о том, какое положение на шкале между ней и максимальной демократической моделью занимает политическая жизнь наших стран, а также определить, в каком направлении она движется. Я утверждаю, что нас все сильнее сносит в сторону постдемократического полюса.

Если я прав, то выделенные мной причины такого движения помогают объяснить кое-что еще и представляют особый интерес для социал-демократов и всех, кого волнуют вопросы политического равенства и кому, собственно, и адресована эта работа. В условиях постдемократии, когда власть все чаще оказывается в руках деловых лобби, нет веских оснований рассчитывать на сильную эгалитарную политику перераспределения власти и богатства или на ограничения влиятельных заинтересованных групп.

И если в этом отношении политика становится постдемократической, то левым предстоит пережить трансформацию, которая, по-видимому, полностью

сведет на нет их достижения в XX веке. Тогда левые боролись — иногда в условиях постепенного и преимущественно мирного прогресса, а иногда в условиях насилия и репрессий — за признание голосов простых людей в жизни страны. Не происходит ли повторного подавления этих голосов, когда экономически влиятельные группы продолжают использовать свои инструменты влияния, а инструменты демоса ослабевают? Это не означает возврата к началу XX столетия, потому что, несмотря на движение в противоположном направлении, мы находимся в иной точке исторического времени и обременены наследием нашего недавнего прошлого. Скорее, демократия описала параболу. Когда вы рисуете траекторию параболы, карандаш проходит одну из координат дважды: сначала поднимаясь к вершине параболы, а затем еще раз в другой точке на спуске. Этот образ сыграет важную роль в том, что будет сказано ниже о сложных чертах постдемократии.

В другом месте (Crouch, 1999b), как ранее было сказано в предисловии, я уже писал о «параболе политики рабочего класса», сосредоточившись на опыте британского рабочего класса. Я вспоминал, что в XX веке этот класс поначалу был слабым и отлученным от политики, но постепенно становился все более многочисленным и сильным, готовясь войти в политическую жизнь, затем ненадолго, во время формирования государства всеобщего благосостояния, кейнсианского управления спросом и институционализированных трудовых отношений, он занял центральное положение и, наконец, по мере сокращения своей численности, дезорганизации и маргинализации в политической жизни лишился своих завоеваний середины XX столетия. Эта парабола лучше всего видна на примере Британии и, возможно, Австралии: политическое влияние рабочего класса росло постепенно, а падение его было особенно резким. В других странах, где влияние также постепенно рос-

ло и ширилось — особенно в Скандинавии, — спад был куда менее значительным. Североамериканский рабочий класс добился менее впечатляющих успехов перед еще более глубоким спадом. За некоторыми исключениями (скажем, Нидерландов или Швейцарии), в большинстве стран Западной Европы и в Японии предшествующая история была гораздо более сложной и отмеченной насилием. Страны Центральной и Восточной Европы имели совершенно иную траекторию, обусловленную искаженной и извращенной формой, связанной с подчинением движений рабочего класса коммунистическим режимам.

Ослабление политического влияния рабочего класса было лишь одним, хотя и очень важным аспектом параболического опыта самой демократии. Две проблемы — кризис эгалитарной политики и тривиализация демократии — не обязательно должны быть тождественными. Сторонники равенства могут говорить, что им неважно, насколько правительство манипулирует демократией, пока богатство и власть в обществе распределяются более равномерно. Консервативный демократ заметит, что повышение качества политических дебатов не обязательно ведет к более перераспределительной политике. Но в некоторых важных пунктах эти проблемы пересекаются, и именно на этом пересечении я и собираюсь сосредоточить свое внимание. Я полагаю, что, несмотря на сохранение форм демократии (и даже их несомненное усиление сегодня в некоторых отношениях), политика и правительство все чаще оказываются под контролем привилегированных элит, как это было в додемократические времена, и что одним из важных следствий этого процесса является ослабление эгалитаризма. Поэтому винить в болезнях демократии средства массовой информации и рост влияния политтехнологов — значит не замечать куда более глубоких процессов, которые разворачиваются на наших глазах.

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ МОМЕНТ

Ближе всего к демократии в моем максимальном ее понимании общества были в первые годы после ее завоевания или кризиса режимов, когда восторженное отношение к демократии было широко распространено, когда множество различных групп и организаций простых людей сообща стремились выработать политическую программу, отвечающую тому, что их волновало, когда влиятельные группы, которые доминировали в недемократических обществах, находились в уязвимом положении и вынуждены были обороняться, и когда политическая система еще не вполне разобралась с тем, как управлять и манипулировать новыми требованиями. Народные политические движения и партии вполне могли находиться во власти руководителей, персональный стиль которых был далек от демократического идеала, но они по крайней мере подвергались активному давлению со стороны массового движения, которое, в свою очередь, представляло некоторые устремления простых людей.

В большинстве стран Западной Европы и в Северной Америке демократический момент наступил в середине XX столетия: незадолго до Второй мировой войны — в Северной Америке и Скандинавии, вскоре после нее — во многих остальных странах. К этому времени последние крупные антидемократические движения — фашизм и нацизм — потерпели поражение в мировой войне, а политические перемены происходили одновременно с серьезным экономическим ростом, который сделал возможным осуществление многих демократических целей. Впервые в истории капитализма общее здоровье экономики стало зависеть от процветания массы наемных работников. Наиболее ярким проявлением этого стала экономическая политика, связанная с кейнсианством, а также логика цикла массового производства и массового потребления, воплощенная в так называемых «фор-

I. Почему постдемократия?

дистских» методах производства. В этих промышленно развитых обществах, которые не стали коммунистическими, между капиталистами и рабочими был достигнут определенный социальный компромисс. Взамен на выживание капиталистической системы и общее успокоение протеста против неравенства, порождаемого этой системой, бизнес научился соглашаться с определенными ограничениями на способность использовать свою власть. А демократическая политическая власть, сосредоточенная в национальном государстве, способна была гарантировать эти ограничения, поскольку фирмы в основном подчинялись власти национальных государств.

В своем наиболее чистом виде такая форма развития проявилась в Скандинавии, Нидерландах и Великобритании. В других странах имелись важные различия. Хотя Соединенные Штаты начинали крупные социальные реформы 1930-х вместе со Скандинавией, общая слабость рабочего движения в этой стране привела к постепенному ослаблению первоначальных достижений в социальной политике и трудовых отношениях в 1950-х, несмотря на то что кейнсианский подход в экономической политике сохранялся вплоть до 1980-х; лежащее в основе демократии массового производства массовое потребление американской экономики продолжает воспроизводиться. Западногерманское государство, напротив, не занималось кейнсианским управлением спроса до конца 1960-х, но при этом имело хорошо институционализированные отношения между трудом и бизнесом и в конце концов — сильное государство всеобщего благосостояния. Во Франции и Италии этот процесс был менее выраженным. Имело место неоднозначное сочетание уступок требованиям рабочего класса для ослабления привлекательности коммунизма, с неприятием прямого представительства интересов рабочих отчасти из-за того, что на роль таких представителей претендовали коммунистические партии

и профсоюзы. Испания и Португалия перешли к демократии только в 1970-х — как раз тогда, когда условия, которые обеспечивали сохранение послевоенной модели, начали исчезать, а греческая демократия была прервана гражданской войной и несколькими годами военной диктатуры.

Высокий уровень широкого политического участия конца 1940-х — начала 1950-х в некоторой степени был результатом необычайно важной общей задачи послевоенной реконструкции, а в некоторых странах интенсивная общественная жизнь сохранялась и в военные годы. Нельзя было рассчитывать, что это продлится долго. Скоро элиты научились управлять и манипулировать. Народ разочаровался, заскучал или занялся частной жизнью. Растущая сложность проблем после первых серьезных реформаторских достижений серьезно затруднила занятие сведущих позиций, продуманных комментариев, и в конце концов даже минимальное действие в виде голосования столкнулось с противодействием апатии. Тем не менее основные демократические задачи экономики, зависевшие от цикла массового производства и массового потребления, которое поддерживалось государственными расходами, оставались основной движущей силой политики с середины столетия и до 1970-х годов.

Нефтяной кризис 1970-х проверил на прочность способность кейнсианской системы управлять инфляцией. Возникновение экономики обслуживания ослабило роль промышленных рабочих в поддержании цикла производства/потребления. Последствия этого были заметно отсрочены в Западной Германии, Австрии, Японии и до некоторой степени в Италии, где рост промышленного производства и занятости на производстве не прекращался. В Испании, Португалии и Греции, где рабочий класс только начал набирать политическое влияние, которым его северные собратья обладали уже на протяжении нескольких десятилетий, дело обстояло совершенно иначе. Это

I. Почему постдемократия?

стало возможным в краткий период, когда социал-демократия словно отправилась на летний отдых: скандинавские страны, долгое время находившиеся под ее властью, сдвинулись вправо, а в правительствах средиземноморских стран левые партии начали играть заметную роль. Но перерыв не был долгим. Хотя эти южные правительства добились заметных успехов в расширении прежде крайне ограниченных социальных государств в своих странах (Maravall, 1997), социал-демократии в этих странах укорениться так и не удалось. Влияние рабочего класса было гораздо слабее, чем во времена промышленного расцвета.

В Италии, Греции и Испании дела обстояли еще хуже: правительства этих стран погрязли в скандальной политической коррупции. К концу 1990-х стало ясно, что коррупция ни в коей мере не ограничивается левыми партиями или странами Южной Европы и что она стала распространенной чертой политической жизни (Della Porta, 2000; Della Porta and Meny, 1995; Della Porta and Vannucci, 1999). Коррупция служит важным показателем того, что демократия больна, что политический класс стал циничным, аморальным и огражденным от надзора и общества. Печальный урок, который преподали нам страны Южной Европы, а вслед за ними и Бельгия, Франция, отчасти Германия и Великобритания, заключался в том, что левые партии ни в коей мере не свободны от феномена, который должен быть анафемой для их движений и партий.

К концу 1980-х глобальное дерегулирование финансовых рынков сместило акцент экономического развития с массового потребления на фондовую биржу. Сначала в США и Британии, а вскоре и в других странах максимизация акционерной стоимости стала главным показателем экономического успеха (Dore, 2000); споры о более широкой акционерной экономике стали очень тихими. Везде доля дохода, получаемого трудом, а не капиталом, которая постепенно росла

на протяжении десятилетий, вновь начала падать. Демократическая экономика ослабла вместе с демократическим государством. Соединенные Штаты продолжали пользоваться своей репутацией образцовой демократии для всего мира, а к началу 1990-х снова, как и в послевоенные годы, стали безусловным образцом для всех, кто жаждал динамичного развития и современности. Однако общественная модель, предлагаемая теперь Соединенными Штатами, заметно отличается от той, что была прежде. Тогда для большинства европейцев и японцев они предлагали творческий компромисс между сильным капитализмом и богатыми элитами, с одной стороны, и эгалитарными ценностями, сильными профсоюзами и социальной политикой «Нового курса» — с другой. Европейские консерваторы по большей части были убеждены в том, что между ними и массами игра с положительной суммой невозможна, и это убеждение привело многих из них к поддержке фашистского и нацистского гнета и террора в межвоенный период. Когда эти подходы к вызовам со стороны народа потерпели крах во время войны и покрыли себя позором, элиты с большим воодушевлением обратились к американскому компромиссу, основанному на массовом производстве. Именно этот путь, а также его военные достижения во время войны позволили Соединенным Штатам с полным правом притязать на роль главного защитника демократии в мире.

Но в рейгановскую эпоху Соединенные Штаты глубоко изменились. Их социальная система начала работать по остаточному принципу, профсоюзы оказались маргинализированными, а разрыв между богатыми и бедными начал напоминать неравенство, существующее в странах третьего мира, полностью перевернув привычную историческую связь между модернизацией и сокращением неравенства. Этот американский пример элиты всего мира, включая элиты стран, освободившихся от коммунизма, могли

принять с распростертыми объятьями. В то же самое время американские представления о демократии все чаще связывались с ограниченным правительством в неограниченной капиталистической экономике и сводили демократическую составляющую к проведению выборов.

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ КРИЗИС? КАКОЙ КРИЗИС?

Принимая во внимание сложность поддержания некоего подобия максимальной демократии, закат демократических моментов следует считать неизбежным, исключая важные новые моменты кризиса и изменения, которые делают возможным новое участие или, что более реалистично в обществе со всеобщим правом голоса, появление новых идентичностей в существующих рамках, которые меняют форму народного участия. Как мы увидим, эти возможности появляются и имеют большое значение. Но в долгосрочной перспективе нам следует ожидать энтропии демократии. В таком случае важно понять действующие здесь силы и приспособить наш подход к соответствующему политическому участию. Эгалитаристы не могут помешать наступлению постдемократии, но мы должны научиться работать с ней, смягчая, совершенствуя и иногда бросая ей вызов, а не просто принимая ее.

Ниже я попытаюсь рассмотреть некоторые глубинные причины этого явления, а также задамся вопросом, что мы можем с этим сделать. Но прежде мы должны внимательнее рассмотреть сомнения, которые могут сохраняться у многих относительно моего исходного тезиса, что состояние нашей демократии оставляет желать лучшего.

Могут сказать, что демократия переживает сегодня один из своих самых блестящих периодов. Речь идет не только о распространении выборных правительств

во всем мире, но и о том, что в так называемых развитых странах политики все реже пользуются почтением и некритическим уважением публики и СМИ, чем прежде. Правительство и его секреты все чаще обнажаются перед демократическим взором. Постоянно раздаются призывы к все более открытому правительству и к конституционным реформам, которые должны сделать правительства более ответственными перед народом. Конечно, мы живем сегодня в более демократическую эпоху, чем во время «демократического момента» третьей четверти XX столетия. Политики тогда незаслуженно пользовались доверием и уважением наивных и почтительных избирателей. То, что, с одной стороны, кажется манипулированием общественным мнением сегодняшними политиками, с другой стороны, можно считать заботой политиков о взглядах чутких и сложных избирателей, что заставляет этих политиков тратить немалые средства на выяснение того, что же думают избиратели, а затем возбужденно на это реагировать. Конечно, политики сегодня озабочены формированием политической повестки больше, чем их предшественники, предпочитая опираться на маркетинговые исследования и опросы общественного мнения.

Это оптимистическое представление о нынешней демократии ничего не говорит о фундаментальной проблеме власти корпоративных элит. И эта тема станет главной в следующих частях настоящей работы. Но существует также важное различие между двумя представлениями об активном демократическом гражданине, которые в оптимистических дискуссиях оставляются без внимания. По первому представлению имеется позитивное гражданство, когда группы и организации сообща создают коллективные идентичности, осознают интересы этих идентичностей и самостоятельно формулируют требования, основанные на них, которые они предъявляют политической системе. По второму — негативный активизм

обвинений и недовольства, когда главной целью политики оказывается призыв политиков к ответу, когда их голову кладут на эшафот, а их публичный образ и частное поведение подвергаются тщательному изучению. Этому различию прекрасно соответствуют две различных концепции прав граждан. Позитивные права делают акцент на возможности участия граждан в жизни своего политического сообщества: право голоса, создания и членства в организациях, получения достоверной информации. Негативные права — это права, которые защищают индивида от других, особенно от государства: права на защиту в суде, права на собственность.

Демократия нуждается в обоих этих подходах к гражданству, но в настоящее время все большую роль играет негативная составляющая. Это вызывает особое беспокойство, потому что именно позитивное гражданство отвечает за созидательность демократии. С пассивным подходом к демократии негативную модель, при всей ее агрессии против правящего класса, объединяет идея, что политика, по сути, является делом элит, которых недовольные наблюдатели обвиняют и стыдят, обнаруживая, что те допустили какую-то провинность. Парадоксальным образом всякий раз, когда мы думаем, что какой-то провал или катастрофа разрешаются, когда неудачливый министр или чиновник вынужден уйти в отставку, мы играем на руку модели, которая считает правительство и политику делом небольших групп элиты, принимающей решения.

Наконец, могут задать вопрос о силе движения к «открытому правительству», прозрачности и открытости для расследований и критики, что можно было бы считать важным политическим достижением неолиберализма за последнюю четверть XX столетия, если бы эти шаги не сопровождались мерами по усилению государственной безопасности и секретности. Можно привести немало соответствующих примеров.

Во многих странах происходит ощутимый рост преступности и насилия и страха перед иммиграцией людей из бедных стран в богатые и перед иностранцами вообще. Все это достигло своей наивысшей символической точки в убийственных и самоубийственных ударах исламских террористов по Соединенным Штатам 11 сентября 2001 года. С тех пор Соединенные Штаты и Европа получили как новые оправдания для государственной секретности и отказа в праве надзора за действиями государства, так и новые полномочия для слежки за своим населением и вторжения в частную жизнь своих граждан. Вполне вероятно, что в последующие годы многие достижения в прозрачности правительств 1980–1990-х годов будут свернуты: останутся лишь те, что отвечают глобальным финансовым интересам.

АЛЬТЕРНАТИВЫ ЭЛЕКТОРАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ

Другое свидетельство, опровергающее мой тезис об ослаблении демократии, происходит из оживленного мира различных групп давления, которые становятся все более влиятельными. Не служат ли они олицетворением здорового позитивного гражданства? Существует опасность чрезмерной сосредоточенности на политике в узком партийном и электоральном смысле и незамечания ухода творческого гражданства с этой арены на более широкую арену гражданских групп. Можно сказать, что организации в защиту прав человека, бездомных, третьего мира, окружающей среды и не только создают гораздо более широкую демократию, потому что они позволяют нам выбрать четко определенную область, тогда как партийная работа требует от нас поддержки общей программы. Кроме того, спектр возможностей для деятельности оказывается гораздо шире простого содействия избранию политиков. А современные средства коммуникации вро-

де Интернета облегчают и удешевляют организацию и координацию деятельности новых групп.

Этот аргумент звучит весьма убедительно. Не то чтобы я был с ним полностью не согласен — и в нем, как мы увидим в последней главе, можно найти некоторые ответы на наши нынешние трудности. Но он также выявляет некоторые слабые места. Нам нужно прежде всего провести различие между теми видами гражданской активности, которые преследуют, по сути, политическую программу, стремясь добиться действий, принятия законов или совершения расходов со стороны государственных властей, и тем, что решают задачи напрямую и пренебрегают политикой. (Конечно, некоторые группы в первой категории также могут заниматься прямым решением задач, но здесь это не главное.)

В последнее время выросло число гражданских групп, которые открыто выступают против политического участия. Отчасти это отражает нездоровье самой демократии и распространенное циничное отношение к ее способностям. Особенно это касается Соединенных Штатов, где недовольство левых монополизацией политики со стороны крупного бизнеса сливается с правым неприятием сильного правительства в перевознесении неполитической гражданской добродетели. Вспомним необычайную популярность среди американских либералов книги Роберта Патнэма «Чтобы демократия сработала» (Патнэм, 1996). В ней представлено довольно идеализированное описание того, как в различных частях Италии на уровне сообществ безо всякого участия государства сложились сильные нормы и практики сотрудничества и доверия. Итальянские критики отмечали, что Патнэм игнорировал фундаментальную роль локальной политики в поддержании этой модели (Bagnasco, 1999; Piselli, 1999; Trigilia, 1999).

В Великобритании также появилось множество самых различных групп взаимопомощи, сообществ,

схем присмотра за районами и благотворительной деятельности, отчаянно пытающихся заполнить недостаток заботы и ухода со стороны слабеющего государства всеобщего благосостояния. Большинство этих видов деятельности представляют большой интерес и ценность и заслуживают всяческого одобрения. Но именно из-за того, что они отворачиваются от политики, их нельзя назвать признаком здоровья демократии, которая по определению является политической. И такая деятельность вполне может процветать в недемократических обществах, в которых политическое участие либо опасно, либо невозможно и в которых государство, как правило, остается безразличным к социальным проблемам.

Сложнее обстоит дело со вторым типом организаций — политически ориентированными кампаниями и лобби, которые хотя и не стремятся оказывать прямое влияние или завоевывать голоса, но все же оказывают непосредственное влияние на государственную политику. Подобные формы жизни свидетельствуют о сильном либеральном обществе, но это не то же самое, что сильная демократия. Поскольку мы так привыкли к идее либеральной демократии, мы сегодня склонны не замечать того, что здесь действуют два отдельных элемента. Демократия требует примерного равенства всех граждан в их реальной способности влиять на политические результаты. Либерализм требует свободных, широких и разнообразных возможностей для того, чтобы влиять на такие результаты. Это связанные и взаимозависимые условия. Разумеется, максимальная демократия не может процветать без сильного либерализма. Но это две разные вещи, и иногда между ними даже возникают противоречия.

Это различие прекрасно понимали буржуазно-либеральные круги XIX столетия, которые очень остро сознавали наличие противоречия: чем сильнее акцент на равенстве политических возможностей, тем выше

вероятность появления правил и ограничений, направленных на сокращение неравенства и угрожающих акценту либерализма на свободе и многообразии форм деятельности.

Приведем простой и важный пример. Если не вводить никаких ограничений на средства, которые партии и их друзья могут использовать для своего продвижения, и на виды медиаресурсов и рекламы, которые могут быть куплены, тогда партии, пользующиеся поддержкой богатых, будут иметь значительные преимущества на выборах. Такой режим поощряет либерализм, но ограничивает демократию, так как здесь отсутствует единое пространство соперничества, которого требует критерий равенства. Именно так обстоят дела в американской политике. И наоборот, государственное финансирование партий, ограничение расходов на избирательные кампании, правила, касающиеся приобретения времени на телевидении в политических целях, позволяют обеспечить примерное равенство и, следовательно, содействуют демократии, но за счет ограничения свободы.

Мир политически активных групп, движений и лобби принадлежит либеральной, а не демократической политике, и в нем немного правил, ограничивающих возможности влияния. Разные группы имеют совершенно разные ресурсы. Лобби, представляющие интересы бизнеса, всегда обладают серьезными преимуществами по двум различным причинам. Во-первых, как убедительно показал Линдблом (Линдблом, 2005), разочаровавшийся в американской модели сторонник плюрализма, бизнес-группы способны угрожать, что, если правительство к ним не прислушается, их сектор не будет успешным, а это, в свою очередь, поставит под угрозу главный предмет заботы правительства — его экономические успехи. Во-вторых, они могут привлекать огромные средства для своей лоббистской деятельности не просто потому, что они богаты, а потому, что успехи в лоббист-

ской деятельности приносят бизнесу огромную прибыль: затраты на лоббирование — это инвестиции. Не связанные с бизнесом группы редко могут выступать за что-то настолько значительное, что может повредить экономическому успеху, и успех их лоббистской деятельности не принесет материальной выгоды (они же не преследуют интересов, связанных с бизнесом), поэтому их затраты представляют собой расходы, а не инвестиции.

Те, кто утверждают, что могут добиться, скажем, здорового питания путем создания специальных групп для лоббирования правительства, минуя электоральную политику, должны помнить, что пищевая и химическая промышленности выведут против их утлых шлюпок настоящие броненосцы. Конечно, подлинный либерализм позволяет всем группам, плохим и хорошим, пытаться оказывать политическое влияние и предоставляет богатые возможности для публичного участия в политике. Но если его не будет уравновешивать здоровая демократия в строгом смысле слова, то неизбежны серьезные искажения. Конечно, электоральная партийная политика тоже подпорчена неравенством финансирования, порождаемым ролью заинтересованных деловых групп. Но в этом случае степень искажения зависит от того, насколько глубоко либерализму позволяют проникнуть в демократию. Чем лучше обеспечены равные правила игры в таких вопросах, как партийное финансирование и доступ к средствам массовой информации, тем больше подлинной демократии. С другой стороны, чем больше процветает либеральное политиканство, а электоральная демократия атрофируется, тем более уязвимой становится последняя перед искажающим неравенством и тем ниже демократичность государства. Оживленный мир различных групп, преследующих различные цели, служит свидетельством того, что мы можем приблизиться к максимальной демократии. Но при этом нельзя забывать, что постде-

мократические силы тоже используют возможности либерального общества.

Схожие доводы можно использовать для опровержения еще одного американского неолиберального аргумента, что современные граждане больше не нуждаются в государстве так, как в нем нуждались их предшественники, что они должны больше опираться на собственные силы и быть более способными и готовыми достигать своих целей при помощи рыночной экономики и что поэтому их меньше должны заботить политические вопросы (см., например: Hardin, 2000). Но корпоративные лобби не вызывают признаков утраты интереса к использованию государства для достижения того, что выгодно им. Как показывает нынешняя ситуация в США, эти лобби плотно окружают и неинтервенционистское неолиберальное государство с низким уровнем государственных расходов, и государства с высокими социальными расходами. И чем больше государство уходит из обеспечения жизни простых людей, порождая у них апатичное отношение к политике, тем проще корпоративным интересам более или менее незаметно использовать его в качестве своей дойной коровы. Неспособность признать это служит отражением глубокой наивности неолиберальной мысли.

СИМПТОМЫ ПОСТДЕМОКРАТИИ

При наличии всего двух понятий — демократии и недемократии — мы не слишком далеко продвинемся в дискуссиях о здоровье демократии. Идея постдемократии помогает нам описать те ситуации, когда приверженцев демократии охватывают усталость, отчаяние и разочарование; когда заинтересованное и сильное меньшинство проявляет гораздо большую активность в попытках с выгодой для себя эксплуатировать политическую систему, нежели массы простых людей; когда политические элиты научились управ-

лять и манипулировать народными требованиями; когда людей чуть ли не за руку тащат на избирательные участки. Это не то же самое, что недемократия, потому что речь идет о периоде, когда мы как бы выходим на другую ветвь демократической параболы. Налицо много признаков того, что именно это происходит в современных развитых обществах: мы наблюдаем отход от идеала максимальной демократии в сторону постдемократической модели. Но прежде чем развивать эту тему дальше, следует вкратце осветить вопрос об использовании префикса «пост-» в общем смысле.

Идея «пост-» регулярно всплывает в современных дискуссиях: мы любим рассуждать о постиндустриализме, постмодерне, постлиберализме, постиронии. Однако она может означать нечто весьма конкретное. Здесь самое существенное — упомянутая выше мысль об исторической параболе, по которой движется феномен, снабженный префиксом «пост-». Это верно в отношении любых явлений, поэтому давайте сперва абстрактно поговорим о «пост- X ». Временной период 1 — это эпоха «пред- X », обладающая определенными характеристиками, которые обусловлены отсутствием X . Временной период 2 — эпоха расцвета X , когда многое им затрагивается и приобретает иной вид по сравнению с первым периодом. Временной период 3 — эпоха «пост- X »: появляются новые факторы, снижая значение X и в некотором смысле выходя за его пределы; соответственно, некоторые явления становятся иными, нежели в периоды 1 и 2. Но влияние X продолжает сказываться; его проявления по-прежнему хорошо заметны, хотя кое-что возвращается в то состояние, каким оно было в период 1. Следовательно, постпериоды должны отличаться весьма сложным характером. (Если вышеприведенные рассуждения кажутся слишком абстрактными, читатель может заметить все X словом «индустриальный», получив в качестве иллюстрации весьма характерный пример.)

Именно так можно понимать и постдемократию. Связанные с ней изменения на определенном уровне представляют собой переход от демократии к некоей более гибкой форме политического реагирования, нежели те конфликты, которые привели к тяжеловесным компромиссам середины XX столетия. В известной степени мы вышли за рамки идеи народовластия, бросив вызов идее власти как таковой. Это отражается в подвижках, происходящих в среде граждан: налицо утрата уважения к правительству, характерная, в частности, для нынешнего отношения к политике в СМИ; от правительства требуют полной открытости; сами политики превращаются из правителей во что-то вроде лавочников, в стремлении сохранить свой бизнес озабоченно старающихся выяснить все пожелания своих «клиентов».

Соответственно, политический мир по-своему реагирует на эти перемены, грозящие вытолкнуть его на непривлекательную и второстепенную позицию. Будучи не в состоянии вернуть себе прежний авторитет и уважение, с трудом представляя, чего от него ждет население, он вынужден прибегать к хорошо известным приемам современных политических манипуляций, которые дают возможность выяснить настроения общества, не позволяя при этом последнему взять контроль за процессом в свои руки. Кроме того, политический мир имитирует методы других миров, имеющих более определенное представление о самих себе и более уверенных в себе: речь идет о мире шоу-бизнеса и рекламы.

Отсюда и возникают известные парадоксы современной политики: в то время как технологии манипулирования общественным мнением и механизмы надзора за политическим процессом приобретают все большую изощренность, содержание партийных программ и характер межпартийного соперничества становятся все более пресными и невыразительными. Политику такого рода нельзя назвать не- или антиде-

мократической, потому что ее результаты во многом определяются стремлением политиков сохранить хорошие отношения с гражданами. В то же время такую политику трудно назвать демократической, потому что многие граждане сводятся в ней к пассивным объектам манипулирования, редко участвующим в политическом процессе.

Именно в этом контексте мы можем понять высказывания некоторых ведущих фигур из стана британских новых лейбористов относительно необходимости создания демократических институтов, которые не сводились бы к идее выборных представителей в парламенте, но в качестве примера при этом ссылаются на использование фокус-групп, что само по себе нелепо. Фокус-группа находится всецело под контролем своих организаторов, которые отбирают и участников, и обсуждаемые темы, а также методы их обсуждения и анализа результатов. Тем не менее в эпоху постдемократии политики имеют дело с запутавшейся общественностью, пассивной в смысле выработки собственной повестки дня. Разумеется, понятно, что они усматривают в фокус-группах более научное средство выяснения общественного мнения по сравнению с грубыми и неадекватными механизмами массового партийного участия и объявляют их гласом народа и исторической альтернативой модели демократии, опирающейся на рабочее движение.

В рамках постдемократии с присущей ей сложностью постпериода продолжают существовать практически все формальные компоненты демократии. Но в долгосрочной перспективе следует ожидать их эрозии, сопровождающей дальнейший отход пресыщенного и разочарованного общества от максимальной демократии. Доказательством того, что это происходит, служит по большей части вялая реакция американского общественного мнения на скандал вокруг президентских выборов 2000 года. Признаки ус-

талости от демократии в Великобритании проявляются в подходах консерваторов и новых лейбористов к местному самоуправлению, которое почти без всякого сопротивления постепенно отдает свои функции как органам центральной власти, так и частным фирмам. Кроме того, следует ожидать исчезновения некоторых фундаментальных столпов демократии и соответствующего параболического возвращения ряда элементов, характерных для преддемократии. К этому приводит глобализация деловых интересов и фрагментация остальной части населения, отнимающие политические преимущества у тех, кто борется с неравенством при распределении богатства и власти, в пользу тех, кто хочет вернуть это неравенство к уровню преддемократической эпохи.

Некоторые заметные последствия этих процессов уже можно наблюдать во многих странах. Государство всеобщего благосостояния из системы всеобщих гражданских прав постепенно превращается в механизм для вознаграждения достойных бедняков; профсоюзы подвергаются все большей маргинализации; вновь становится все более заметной роль государства как полицейского и тюремщика; растет разрыв в доходах между богатыми и бедными; налогообложение теряет свой перераспределительный характер; политики отзываются в первую очередь на запросы горстки вождей бизнеса, чьи особые интересы становятся содержанием публичной политики; бедные постепенно утрачивают всякий интерес к политике и даже не ходят на выборы, добровольно возвращаясь к той позиции, которую вынужденно занимали в преддемократическую эпоху. То, что подобный возврат к прошлому в наибольшей степени заметен именно в США — в обществе, наиболее ориентированном на будущее, проявившем себя в прежние времена в качестве лидера демократических достижений, — объяснимо лишь феноменом демократической параболы.

Глубокой двусмысленностью отличается постдемократическая тенденция все более подозрительного отношения к политике и желания взять ее под строгий контроль, что опять-таки особенно заметно в случае с Соединенными Штатами. Важным элементом демократического движения было требование общественности, чтобы власть государства использовалась для недопущения концентрации частной власти. Соответственно, атмосфера цинизма в отношении политики и политиков, невысокие ожидания по части их достижений и жесткий надзор за масштабами их деятельности и полномочий вполне отвечают повестке дня тех, кто желает обуздать активное государство, например принявшее форму государства всеобщего благосостояния или кейнсианского государства, именно с целью освободить частную власть и вывести ее из-под контроля. По крайней мере в западных обществах неконтролируемая частная власть была не менее заметной чертой преддемократических обществ, чем неконтролируемая власть государства.

Кроме того, состояние постдемократии заметным образом сказывается на характере политической коммуникации. Вспоминая всевозможные формы политических дискуссий в меж- и послевоенные десятилетия, поражаешься существовавшему в то время сравнительному сходству языка и стиля государственных документов, серьезной журналистики, популярной журналистики, партийных манифестов и публичных выступлений политиков. Разумеется, серьезный официальный доклад, предназначенный для общества тех, кто занимался разработкой политики, отличался своим языком и сложностью от многотиражной газеты, но по сравнению с сегодняшним днем различие было невелико. Язык документов, имеющих хождение в кругу тех, кто занимается разработкой политики, не претерпел за это время существенных изменений, однако радикально изменился язык дис-

куссий в многотиражных газетах, правительственных материалов, предназначенных для широкой публики, и партийных манифестов. Они почти не допускают сложности языка и аргументации. Если человек, привыкший к такому стилю, неожиданно получит доступ к протоколу серьезной дискуссии, он растеряется, не зная, как его понимать. Возможно, новостные программы телевидения, вынужденного кое-как существовать между двух миров, оказывают людям серьезную услугу, помогая им устанавливать подобные связи.

Мы уже привыкли, что политики говорят не так, как нормальные люди, изъясняясь бойкими и отточенными афоризмами в оригинальном стиле. Мы не задумываемся над этим явлением, а ведь такая форма коммуникации, подобно языку таблоидов и партийной литературе, не похожа ни на обыкновенную речь людей на улице, ни на язык реальных политических дискуссий. Ее задача — в том, чтобы оставаться неподконтрольной этим двум основным разновидностям демократического дискурса.

Отсюда возникает несколько вопросов. Полвека тому назад население в среднем было менее образованным, чем сегодня. Было ли оно в состоянии понимать предназначенные для его ушей политические дискуссии? Несомненно, что оно более регулярно участвовало в выборах по сравнению с последующими поколениями, а во многих странах постоянно покупало газеты, обращавшиеся к нему не на столь примитивном уровне, и готово было платить за них более высокую долю своих доходов, чем платим мы.

Чтобы разобраться в том, что произошло за истекшие полвека, необходимо рассмотреть этот процесс в более широкой исторической перспективе. Политики, в первой половине века застигнутые врасплох сперва призывами к демократии, а затем и ее реалиями, старались придумать, как им следует обращаться к новой массовой общественности. В течение ка-

кого-то времени казалось, что лишь такие манипуляторы и демагоги, как Гитлер, Муссолини и Сталин, владеют секретом власти, приобретенной путем коммуникации с массами. Неуклюжесть попыток говорить с массами ставила демократических политиков примерно в равные дискурсивные условия с их электоратом. Но затем рекламная индустрия США начала оттачивать свое мастерство, добившись особенных успехов благодаря развитию коммерческого телевидения. Так умение убеждать стало профессией. До сих пор большинство ее представителей посвящают себя искусству продажи товаров и услуг, однако политики и прочие из числа тех, кто использует убеждение в своих целях, с готовностью шли следом, подхватывая инновации рекламной индустрии и добиваясь максимального сходства своего занятия с торговлей, чтобы извлечь как можно больше выгоды из новых методов.

Мы уже настолько привыкли к этому, что по умолчанию воспринимаем партийную программу как «товар», а в политиках видим людей, «впаривающих» нам свое послание. Но на самом деле все это совсем не так очевидно. Теоретически были доступны и другие успешные механизмы обращения к большому числу людей, используемые религиозными проповедниками, школьными учителями и популярными журналистами, пишущими на серьезные темы. Поразительный пример последнего мы видим в лице британского писателя Джорджа Оруэлла, который стремился превратить массовую политическую коммуникацию и в разновидность искусства, и в нечто весьма серьезное. С 1930-х по 1950-е годы в британской популярной журналистике было весьма распространено подражание Оруэлли, которое сейчас практически сошло на нет. Популярная журналистика, как и политика, начала строиться по образцу рекламы: очень короткие сообщения, почти не требующие концентрации внимания, и использование слов для создания ярких

образов вместо аргументов, обращенных к разуму. Реклама — это не рациональный диалог. Она не доказывает необходимость покупки рекламируемой продукции, а связывает последнюю с конкретной образной системой. Рекламе невозможно возразить. Ее цель — не вовлечь вас в дискуссию, а убедить сделать покупку. Использование ее методов помогло политикам решить задачу коммуникации с массами, но отнюдь не пошло на пользу самой демократии.

В дальнейшем деградация массовой политической коммуникации проявилась в растущей персонализации электоральной политики. Прежде избирательные кампании, тотально завязанные на личность кандидата, были характерны для диктатур и для электоральной политики в обществах со слаборазвитой системой партий и дискуссий. За некоторыми случайными исключениями (такими как Конрад Аденауэр и Шарль де Голль), они гораздо реже встречались в демократический период; их широкое распространение в наше время служит еще одним признаком перехода на другую ветвь параболы. Восхваление мнимых харизматических качеств партийного лидера, его фото- и видеоизображения в красивых позах с течением времени все больше подменяют собой дискуссии о насущных проблемах и конфликтах интересов. В итальянской политике ничего подобного не наблюдалось до всеобщих выборов 2001 года, когда Сильвио Берлускони выстроил всю правоцентристскую кампанию вокруг своей фигуры, используя огромное количество своих портретов, на которых выглядел гораздо моложе своих лет, что составляло резкий контраст с традиционным партийно-ориентированным стилем, использовавшимся итальянскими политиками после свержения Муссолини. Вместо того чтобы использовать такое поведение Берлускони для резкой критики в его адрес, непосредственный и единственный ответ левоцентристов заключался в том, чтобы найти достаточно фотогеничную личность среди своего руководства

и постараться симитировать кампанию Берлускони настолько, насколько это возможно.

Еще более явной была роль личности претендента на поразительных губернаторских выборах 2003 года в Калифорнии, когда киноактер Арнольд Шварценеггер провел успешную кампанию, не имевшую политического содержания и основанную почти исключительно на факте его известности как голливудской звезды. На первых голландских всеобщих выборах 2002 года Пим Фортейн не только создал новую партию, целиком построенную вокруг его личности, но и назвал ее своим именем («Список Пима Фортейна») — и та добилась столь поразительных успехов, что продолжала существовать, даже несмотря на его убийство незадолго до выборов (или благодаря этому). Вскоре после этого она развалилась из-за внутренних разногласий. Феномен Фортейна являет собой и пример постдемократии, и попытку дать на нее ответ. Он включал использование харизматической личности для оглашения расплывчатой и бессвязной политической программы, в которой отсутствовало четкое выражение чьих-либо интересов, кроме обеспокоенности недавним наплывом иммигрантов в Нидерланды. Она была обращена к тем слоям населения, которые утратили прежнее чувство политической идентичности, хотя и не помогала им найти его снова. Голландское общество служит особенно показательным примером стремительной утраты политической идентичности. В отличие от большинства других западноевропейских обществ, оно пережило утрату не только четкой классовой идентичности, но и ярко выраженной религиозной идентичности, которая до 1970-х годов играла ключевую роль в поиске голландцами своей специфической культурной, а также политической идентичности в рамках общества.

Однако, хотя отмирание подобных видов идентичности приветствуется некоторыми из тех, кто, подобно Тони Блэру или Сильвио Берлускони, пыта-

ется сформулировать новый, постидентичностный подход к политике, движение Фортейна одновременно выражало неудовлетворенность именно таким состоянием дел. Значительную часть своей кампании Фортейн строил на сожалениях об отсутствии ясности в политических позициях большинства других голландских политиков, которые, по его (достаточно истинным) утверждениям, пытались решить проблему возрастающей расплывчатости самого электората, обращаясь к какому-то невнятному среднему классу. Апеллируя к идентичности, основанной на враждебности к иммигрантам, Фортейн был не слишком оригинален — подобное явление стало почти повсеместной чертой в современной политике. К этому вопросу мы еще вернемся.

Являясь одним из аспектов отхода от серьезных дискуссий, заимствования у шоу-бизнеса идей о том, как повысить интерес к политике, усиливающейся неспособности современных граждан определить свои интересы, а также возрастающей технической сложности проблем, феномен персонализации может быть истолкован как ответ на некоторые проблемы собственно постдемократии. Хотя никто из участников политического процесса не собирается отказываться от модели коммуникации, позаимствованной из рекламной индустрии, выявление отдельных примеров ее использования равнозначно обвинениям в нечистоплотности. Соответственно, политики приобретают репутацию людей, абсолютно не заслуживающих доверия в силу самой своей личности. К тем же последствиям ведет усиленное внимание СМИ к их личной жизни: обвинения, жалобы и расследования подменяют собой конструктивную общественную деятельность. В результате избирательная борьба принимает форму поиска личностей с твердым и прямым характером, но этот поиск тщетен, так как массовые выборы не дают информации, на основе которой можно делать подобные оценки. Вместо этого одни кандида-

ты создают себе образ честного и неподкупного политика, а их противники лишь с еще большим усердием роятся в их личной жизни с целью найти доказательство обратного.

ФЕНОМЕН ПОСТДЕМОКРАТИИ

В последующих главах мы изучим как причины, так и политические последствия сползания к постдемократической политике. Что касается причин, они носят сложный характер. В их числе следует ожидать энтропию максимальной демократии, однако встает вопрос — чем заполняется возникающий при этом политический вакуум? Сегодня самой очевидной силой, делающей это, является экономическая глобализация. Крупные корпорации нередко перерастают способность отдельных национальных государств осуществлять контроль за ними. Если корпорациям не нравится регулирующий или фискальный режим в одной стране, они угрожают перебраться в другую страну, и государства, нуждаясь в инвестициях, все сильнее соперничают в готовности предоставлять корпорациям наиболее благоприятные условия. Демократия просто не поспевает за темпом глобализации. Максимум, что ей под силу, — работа на уровне некоторых международных объединений. Но даже важнейший из них — Европейский Союз — просто неуклюжий пигмей по сравнению с энергичными корпоративными гигантами. К тому же по самым скромным стандартам его демократические качества крайне слабы. Некоторые из этих моментов будут рассмотрены в главе II, когда пойдет речь о минусах глобализации, а также о значении отдельного, но родственного явления — превращения компании в институт, — влекущего за собой определенные последствия для типичных механизмов демократического управления и, соответственно, роли этого явления в переходе на другую ветвь демократической параболы.

Наряду с усилением глобальной корпорации и компаний вообще мы видим, как снижается политическое значение простых трудящихся. Это отчасти связано с изменениями в структуре занятости, которые будут рассмотрены в главе III. Упадок тех профессий, в которых возникли трудовые организации, придававшие силу политическим требованиям масс, привел к фрагментированности и политической пассивности населения, не способного создать организаций, которые были бы выразителями его интересов. Более того, закат кейнсианства и массового производства снизил экономическое значение масс: можно сказать, что рабочая политика также вышла на другую ветвь параболы.

Такое изменение политического места крупных социальных групп имело важные последствия для взаимоотношений между политическими партиями и электоратом, особенно заметно сказавшись на левых партиях, которые исторически являлись представителями групп, снова выталкиваемых на обочину политической жизни. Но, поскольку многие текущие проблемы касаются массового электората вообще, вопрос ставится намного шире. Партийная модель, разработанная для эпохи расцвета демократии, постепенно и незаметно превратилась в нечто иное — в модель постдемократической партии. Об этом речь пойдет в главе IV.

Многие читатели, особенно к моменту дискуссии в главе IV, могут указать на то, что я рассматриваю исключительно политический мир, замкнутый сам на себя. Так ли уж важно для простых граждан, какие люди населяют коридоры политического влияния? Не имеем ли мы дело с куртуазной игрой, не влекущей за собой реальных социальных последствий? На эту критику можно ответить обзором различных политических сфер, демонстрирующим, насколько возрастающее доминирование деловых лобби над большинством прочих интересов исказило проведение госу-

дарством реальной политики, с соответствующими реальными последствиями для граждан. Объем нашей работы позволяет уделить место лишь одному примеру, и, соответственно, в главе V мы обсудим влияние постдемократической политики на такую злободневную проблему, как организационная реформа общественных услуг. Наконец, в главе VI мы зададимся вопросом о том, можно ли что-нибудь поделать с описанными нами тревожными тенденциями.